

Иван Куторга

ОРАТОРЫ И МАССЫ

Риторика и стиль

политического поведения

в 1917 году

(Троцкий, Зиновьев, Дейч, Ленин, Церетели, Чернов, Керенский, Милюков, Набоков, Шингарев, Родичев.)

Публикуемые ниже фрагменты воспоминаний Ивана Куторги, одного из активистов кадетской партии (он являлся членом президиума и управы объединения учащихся средних учебных заведений Петрограда при Партии народной свободы), составлялись в конце 1940-го - начале 1941 года. Однако впечатления от событий драматического и судьбоносного 1917 года были, по-видимому, столь сильны, что память участника и свидетеля сохранила их во всех деталях и подробностях даже спустя два с лишним десятилетия. Сегодня, когда минула очередная годовщина Февральской революции и в то же время приближаются президентские выборы в России, небезынтересно восстановить в памяти характерные черты и стиль политического поведения некоторых видных политических фигур России 1917-го - не навязывая прямолинейные ассоциации и параллели с современными политическими персонажами, но и не исключая подобные сравнения... Оригинал рукописи хранится в Государственном архиве Российской Федерации. Заглавие, подзаголовок и названия подглавок даны редакцией.

ТРОЦКИЙ

Троцкий, которого я слышал уже искушенным посетителем политических собраний, поразил меня тем чудовищным запасом ненависти, которую излучал из себя настоящий демон революции. Уже тогда в нем чувствовалось нечто действительно страшное. Помню, я также был поражен его диалектическими способностями. На крестьянском съезде он выступал среди предельно враждебной ему аудитории. Казалось, большевистский оратор не сможет сказать ни одного слова. И действительно, вначале оборончески и эсеровски настроенные делегаты прерывали Троцкого на каждом слове. Через

несколько минут своей находчивостью и страстностью Троцкий победил аудиторию настолько, что заставил себя слушать. А окончив речь, он даже услышал аплодисменты.

ЗИНОВЬЕВ

Если Троцкий внушал ненависть и какой-то ужас, то Зиновьев произвел на меня отталкивающее впечатление, прямое чувство гадливости. Во внешности этого человека было сочетание беспредельной самоуверенности и нахальства с трусливым мещанским началом. Полемика Троцкого звучала патетически, и сарказмы его были сильны, подлинно ядовиты. Полемика Зиновьева была беспардонной базарной демагогией, не знаю, убеждавшей ли слушавших его солдат и рабочих (по моим наблюдениям, далеко не всегда), но на нас, молодую интеллигентскую аудиторию, эта лживая и грубо нахальная манера спора производила, конечно, только обратное действие.

ДЕЙЧ

Помню один огромный митинг в казармах лейб-гвардии Гренадерского полка. Предметом спора было отношение партий к войне. Спор оборонцев и пораженцев. На стороне социалистов-оборонцев главным оратором был старый социалист, социал-демократ, плехановец Лев Дейч. Со стороны пораженцев первым номером выступал Зиновьев. Здесь столкнулись не только две политические тактики или стратегии. То были два разных мира. С одной стороны, сознание ответственности перед страной и народом, сочетание социалистической убежденности, в наличии которой у Дейча сомневаться никак нельзя, с патриотизмом; Дейч, в неисправимой наивности марксиста старой школы, все время ссылаясь на авторитет Плеханова, который для слушавшей солдатской массы был совершенно пустым местом. С другой стороны - была ловкая бесстыжая демагогия, не щадившая никого и ничего: ни старого Дейча, когда-то партийного сотоварища, одного из основателей русской социал-демократии, ни других противников, ни, главное, России и судеб русского народа. В большевистских речах в 1917 году это безразличие к России (кроме одного чувства - ненависти к старому строю) было для меня лично самым непереносимым. Увы! Зиновьев "побил" и старого Дейча, и А.И. Шингарева, отважившегося выступить со своими кадетскими тезисами в этом осином гнезде. Наши крики, наши аплодисменты и свистки не могли ничего изменить в "соотношении сил", а солдаты обложили нас нецензурной бранью, из которой мы должны были понять, что буржуазные сынки последний раз уносят ноги целыми с митинга "сознательных" гренадер. Уходя (надо сказать, очень поспешно)

с этого ристалища, мы уносили все то же чувство злобы и бессилия и желание от слов перейти к действиям, о котором я уже говорил.

ЛЕНИН

Ленина я слышал во время одной из его знаменитых речей с балкона дворца Кшесинской. Помню, мы, гимназисты-буржуи, собрались целой большой ордой: наше боевое задание - сорвать речь Ленина. Мы уже знали и от тех, кого считали нашими политическими руководителями, и еще больше путем собственного наблюдения, что именно от этого страшного человека исходит днем и ночью раздуваемое пламя социальной ненависти. Первое впечатление было не сильным. Речь спокойная, без жестов и крика, внешность совсем не "страшная", можно сказать сугубо мирная. Содержание этой речи я понял не столько по словам коммунистического вождя, сколько по поведению окружающих. Если при слушании Зиновьева и Троцкого мы присутствовали (как бы) при пропаганде гражданской ненависти и войны, то здесь то и другое было уже как бы фактом. То, к чему те призывали, у Ленина было уже очевидностью, фактом, чуть ли не чем-то само собой понятным и почти обыденным. И это сказывалось на толпе. Слушатели Зиновьева ругались, безобразничали и грозили; слушатели Ленина готовы были с деловым и занятым видом сорвать у прихвостней буржуазии и ее детенышей головы. Надо признаться - такого сильного раствора социальной ненависти мы еще не встречали и мы "сдали", не только испугались, но психологически были как-то разбиты. Конечно, митинга Ленина мы не сорвали и сорвать его не могли. Так было в первый раз, что я видел Ленина, второй раз я его увидел уже в октябрьские дни. И эта вторая встреча оставила меньше впечатления: пришедший уже к власти Ленин мне показался менее страшным. Мы были уже не слушателями и объектом нападок. Мы были сами уже субъектами, пусть ничтожно малыми, в уже наступившей борьбе...

ЦЕРЕТЕЛИ

Церетели захватывал своей подкупающей искренностью и горячностью и своей безграничной верой (как нам тогда казалось) в силу добра. Совсем другое впечатление производил, например, Дан с его бездушной талмудистской диалектикой. Вообще меньшевики среди юной петербургской интеллигенции не пользовались популярностью, тем более что они в значительной мере окрашивали Совет рабочих и солдатских депутатов. Совсем иным было наше отношение к группе "Единство"; но Плеханова мы больше с чужих слов почитали за его тогдашнюю

позицию, чем на самом деле понимали. Его чисто европейский социализм был мало понятен нам, да и не только нам, но вообще сколько-нибудь широким слоям русского общества. Нас привлекала его непримиримость к "углубителям революции" и к официальной тактике Совета рабочих депутатов, но мы, конечно, совсем не понимали его глубокого пессимизма и всей глубины переживаемой им трагедии. Однако мы постоянно ходили на те выступления, которые без особого успеха группа "Единство" предпринимала с безнадежной надеждой, что ей удастся наставить русских социалистов на путь истины и внушить им, что помимо идеи свободы, мира, социального равенства и братства народов существует еще и реальная действительность, в которой протекает русская революция; что, в частности, налицо, с одной стороны, великая война, где на карту поставлены насущные интересы русского народа, а, с другой стороны, существует беспредельная наивность, политическая неискренность этого народа, его глубокое невежество...

ЧЕРНОВ

Эсеровские ораторы, как известно, выполняли в 1917 году разные мелодии. Партия была так же не едина, как и партия социал-демократов. Там - от интернационалиста Мартова до Плеханова, здесь - от левого эсера Камкова до бабушки русской революции Брешко-Брешковской и до Савинкова и Керенского. Говоря в общем и целом, Савинков и Керенский (то есть правые эсеры) были молодежи многим ближе, чем Камков и Спиридонов, и не только: многим ближе, чем В.М. Чернов. Помню, этого последнего я слышал в Петрограде много раз, уже тогда, юношей, я был раздражен манерой говорить и спорить этого, в свое время прославленного, партийного лидера.

В.М. Чернов сразу произвел такое впечатление, как будто его диалектический талант весь направлен на одну цель: подсунуть слушателю недоброкачественный материал, как это делает приказчик сомнительной лавчонки. Хитрое, немного на сторону скошенное лицо, косящие в разные стороны глаза и... поток, неудержимый поток красивых слов, запас которых у оратора явно неистощим. Сладкая улыбка и жесты мужицкого "папаши" только увеличивали цельность образа. Таким представлялся мне В.М. Чернов в Петрограде, таким же знал я его в Праге, когда революционное оперение сильно повылезло и слова потеряли прежний глянец. Нас, молодых, не принадлежавших к партии Чернова "общественников", особенно раздражала манера его полемизировать. Было в этой манере полное презрение к истине. Полная неразборчивость в подборе аргументов и необыкновенно неприятная издевающаяся улыбочка; грубая неправда и какое-то неуважение не

только к противнику, но и вообще к слушателю сменялись лирическими "отступлениями" и патетическими призывами "не бояться революции": не бойтесь чрезмерно политических чрезмерностей Ленина - таково одно из этих, ставших знаменитыми, изречений Чернова. Предвидение событий, как видит читатель, оставляло желать лучшего.

КЕРЕНСКИЙ

Керенский считается главным кумиром петроградской политической трибуны в первые месяцы революции до корниловского переворота, после которого отношение к Керенскому сразу сильно изменилось. Мне, как и всей нашей молодежи, о которой я пишу, пришлось слушать Керенского неоднократно. Впервые это было на одном из крестьянских съездов, не помню точно, на котором именно. "Наполеоновская" поза, резкие повелительные движения, резкий повелительный голос и страстная, исполненная революционного пафоса речь, речь в то же время глубоко патриотическая - все это, вместе взятое и усиленное общим воодушевлением и даже энтузиазмом, произвело на меня сильное впечатление, ярко памятное до сих пор. Когда я потом в эмиграции читал резкие нападки на Керенского, когда слышал его в эмигрантских аудиториях, когда я еще и еще раз убеждался в том, как "отзвучал" пафос этого человека, - я всегда вспоминал мое первое лицезрение кумира "Февраля". Керенскому тогда, как я видел своими глазами, целовали женщины руки, его восторженно выносили и вносили в автомобиль. Его головокружительную карьеру бурно приветствовали разные круги. Помню по этому поводу разговоры очень умеренных и, кажется, трезвых людей, собиравшихся и у нас за обеденным столом в Петрограде, и в усадьбе в Рязанской губернии. Не все эти люди разделяли пафос Керенского, многие уже тогда сокрушенно качали головами по поводу обилия слов и скудости "действий", но все признавали неустранимость этого человека. Потом я понял, что Керенский был подлинным олицетворением "Февраля" со всем его подъемом, порывом, добрыми намерениями, со всей его обреченностью и частой политической детской нелепостью и государственной преступностью. Ненависть лично к Керенскому объясняется, по-моему, не только его бесспорно огромными политическими ошибками, не только тем, что "керенщина" (слово, ставшее употребительным на всех европейских языках) не сумела оказать серьезного сопротивления большевизму, а, наоборот, расчистила ему почву, но и другими, более широкими и общими причинами.

В Керенском русская интеллигенция ненавидит самое себя, свое оплеванное прошлое. Так или иначе, но тогда к Керенскому мы не питали того раздражения и неприязни, которые у нас, "буржуазной" молодежи,

вызывали иные социалистические деятели. Мы тогда долго совсем не понимали, какую опасную фигуру представляет собой этот вдохновенный трибун, всецело полагающийся на самую ненадежную силу из всех возможных - на силу слова. Мы не понимали еще, что своими вечными оговорками он разрушает, сам того до конца не понимая, такие свои необходимые начинания, как, например, поднятие дисциплины в армии вплоть до введения в ней (увы, теоретически) смертной казни. Молодежь, стоявшая левее нас, особенно, конечно, эсеровская, была Керенскому долгий срок очень предана, только после провала большого наступления и после июльского выступления большевиков настроение начало в этом смысле меняться. Выступление Корнилова ускорило этот перелом настроений, и ко времени Октябрьского переворота Керенский не был для молодежи тем кумиром, за которого она легко бы отдала свою жизнь. Начала уже обозначаться та "пустота", в которую и рухнул герой Февральской революции.

МИЛЮКОВ

Продолжая рассказ о наших хождениях по петербургским политическим ристалищам, перейдем теперь к слышанным нами ораторам кадетской партии. Это были наши наставники, "наши" лидеры. Понятно, что их мы слушали и понимали иначе, чем социалистов. Но и тут были любимцы и были чуждые, были речи глубоко волнующие и такие, которые мы до конца не понимали или которые для нас были как-то чуждыми. Большинство из нас были "правых" настроений, и это было одним из обстоятельств, определявшим наши симпатии, но только одним из них. Политическая позиция П.Н. Милюкова в ту пору, его "империализм", его борьба за продолжение войны, его желание сохранить России плоды победы, его нежелание уступать Совету рабочих и солдатских депутатов и перестраивать Временное правительство в сторону увеличения социалистического элемента - все это было нам особенно близко (потом я расскажу, как мы пережили апрельские-майские дни и уход Милюкова и Гучкова из правительства). Милюков тогда был кумиром и "надеждой" всех антисоциалистических элементов и, в частности, офицерско-студенческой и нашей гимназической молодежи "буржуазного" толка. Однако, поскольку сейчас я вспоминаю политические трибуны Петрограда и их на нас влияние, я не могу сказать, чтобы П.Н. Милюков завоевывал наши сердца на ораторской трибуне. Оно и понятно. Милюков, как известно, не оратор, "ударяющий по сердцам с неведомою силой". Его гладкая, логичная, с убеждением и большой уверенностью в себе и своей правоте произносимая речь всегда больше политическая "лекция", чем идущий от сердца к сердцу призыв народного трибуна,

оратора божьей милостью. Аргументация Милюкова всегда была достаточно сложна, и всей этой "осложненности" мы тогда не понимали. Не понимали мы тогда и отточенности и совершенства полемического таланта Милюкова, которым Милюков возвышался над всеми русскими политическими деятелями нашего времени, далеко всех превосходя. Это даже понятно: в полемике Милюкова первое место всегда занимает логика. Громадный логический аппарат, которым Милюков громит противника, расщепляя речь последнего на отдельные атомы и выискивая все неувязки, красивые пустоты, противоречия и показную демагогию, занимает господствующую позицию. Весь блеск подобной полемики, вся ее опасность связаны с необходимостью наличия аудитории, способной следить за всеми извилинами мысли борющихся на трибуне ораторов. Должен сказать, что мы тогда не вполне усваивали этот метод спора. Революционная трибуна приучала к иному виду политического красноречия.

Помню все же некоторые дуэли Милюкова с его противниками, которые остались крепко в памяти. Так, например, один митинг, где сцепились Чернов - Милюков, ненавидевшие друг друга уже тогда. Первым говорил Чернов, его речь - речь циммервальдиста - была целиком направлена против Милюкова. Тут были и пресловутые мир без аннексий и контрибуций, и солдатская свобода, и империалистическая война, и, конечно, громадная порция "земли и воли", и гнев против кровожадной буржуазии, и призывы в то же время не бросать оружия и слушаться социалистических министров, и шпильки в адрес генералов, и "революционная дисциплина" под теми же генералами. Весь этот полубольшевистский комплекс, в котором все было (в противоположность подлинному большевизму) противоречиво, напутано и шатко в смысле конечных практических выводов, подверглось ужасающей иронической критике Милюкова, в лапидарных, неотразимо убедительных словах разоблачившего двусмысленность и потому пагубность позиции селянского министра, уже тогда предвосхитившего знаменитую потом нелепую формулу: ни Ленин, ни Колчак. Аудитория тогда была очень разная, скорее даже в своем большинстве эсеровская, но этот день для В.Чернова не был праздником.

Особенностью Милюкова в ту пору было то, что в своих выступлениях он нисколько не приспособлялся к тогда общепринятому революционному трафарету. И тут он очень проигрывал не только по сравнению с левыми ораторами, но и со многими своими товарищами по партии. Свою речь он, например, начинал неизменно не с обращения "граждане" (как было тогда принято в его партии) и не с революционного "товарищи" (что некоторыми кадетами тоже практиковалось в рабочих районах), а с

самого что ни на есть старорежимного: "милостивые государыни и милостивые государи". Нужно вспомнить тогдашний Петроград, чтобы со всей ясностью себе представить, что эти "милостивые государыни и государи" действовали, как красная тряпка тореадора на разъяренного быка. На солдатском митинге или где-нибудь на Выборгской стороне, бывало, достаточно такого обращения, воспринимаемого как вызов и насмешка и контрреволюционная демонстрация вместе, чтобы Милюков не мог больше сказать ни слова. Поднималась буря. И тем не менее, зная наперед впечатление от сакраментальных слов, Милюков, нисколько не смущаясь, вылезал с ними на следующий день, такой же корректный, подтянутый, розовый, с дипломатической улыбкой на устах, и бросал серым шинелям, ситцевым платочкам те слова обращения, с которыми он привык обращаться в своих бесчисленных лекциях к дамам и господам петербургской интеллигенции.

НАБОКОВ

Удивительно, какое большое значение имели внешность и манера говорить оратора. Если Милюков раздражал "революционную демократию" своим обращением и всей манерой изысканного лектора, то не менее остро реагировала она на "барское начало" на трибуне. Помню, я убедился в этом, когда впервые услышал В.Д. Набокова. Он был тогда сравнительно долгий срок "левым кадетом", смысл его гладких, тщательно продуманных речей, из которых было сознательно удалено все, что может раздражать "народ", не мог быть одиозен так, как речи Милюкова. И все же Набоков раздражал революционную демократию, может быть, еще больше Милюкова. Как только появлялась на массовом митинге его стройная фигура со спокойными, барственными, уверенными движениями, одетая в безукоризненный костюм английского покроя, так сразу "революционная демократия" всеми своими фибрами ощущала чужого. Мало того, что чужой, - явно непреодолимо враждебный. Помню на одном таком митинге Набокова в изящных белых гетрах, считавшихся тогда атрибутом дипломатического сословия. Я видел, что эти злосчастные гетры буквально околдовали моих соседей, с ненавистью смотревших на ноги Набокова. Этот демократ, искавший соглашения с революцией, с ее социалистической общественностью излучал барское начало с такой силой, что его речи были уже ненужными (конечно, я говорю тут только о революционной улице). Однако даже трудовая демократическая интеллигенция, само собой знавшая хорошо, что представляет собой Набоков, чувствовала, мне кажется, это отталкивание. Помню, несколькими месяцами позже я ехал из Петрограда в Москву на кадетский съезд в качестве делегата нашей гимназической фракции. Об

этой поездке я расскажу подробно позже. Сейчас же опять о Набокове. Он ехал в соседнем с нашим вагоном II класса международном вагоне и на станции Клин ранним утром прошел, как и все мы, в буфет, чтобы подкрепиться перед приездом в Москву. Чудесные пирожки продавались на станции Клин, с самых юных лет привлекали они меня во время наших частых переездов между Петербургом и Москвой. И в этот раз мы целой шумной ватагой "делегатов-гимназистов" набросились на знакомое угощение. Размеренным шагом, свежесбрившийся и корректный, подошел к стойке и Набоков, лениво взял пирожок в рот и с видимым отвращением отбросил его на стойку, заплатил и отошел. Ничтожная мелочь, но почему же запомнилась она мне на целую жизнь? Я не в первый раз видел русского барина и знал с детства эту среду; на станции Клин меня, очевидно, просто зрительно поразили контраст между бушующим кругом (в поезде, на станции и везде) морем простолюдья и этим барином, одним из обреченных лидеров обреченной партии.

ШИНГАРЕВ

Полным контрастом Набокову был А.И. Шингарев, к этому человеку, с которым мы, кадетская молодежь, были связаны больше, чем с кем-нибудь другим, я еще вернусь не раз. А.И. Шингарев был в период Февральской революции ближайшим оруженосцем и верным спутником П.Н. Милюкова. Он не стеснялся "резать волну" и говорить вещи, подчас очень острые для революционной демократии, для улицы революционной демократии - непереносимые. А его все-таки слушали, он мог выступать там, где этого не могли сделать ни Милюков, ни Набоков. Скромный, смятый, серый пиджачок, усталое, серое лицо, на котором приковывают внимание громадные серые печальные глаза, иногда зажигающиеся огнем негодования, но больше излучающие как бы удивленную скорбь, глубокий ласковый голос, проникающий прямо в душу, простая убежденная красивая речь... Образ чисто русский, русского народника, русского интеллигента, прожившего трудовую жизнь в самой народной толще, знающего близко, как нечто действительно родное, заботы русского села и запах сельской избы. Перед этой речью, простой и искренней, перед этой стихийной тревогой о судьбах народа и родины, перед этой горячей, не надуманной, а глубоко органичной верой в способность народа встать из своего сегодняшнего распада, - пасовала партийная непримиримость, а главное, умолкала социальная вражда. Шингарев не был массам чужим. В кадетской партии, на ее верхах, к Шингареву было не совсем правильное, насколько я знаю, отношение. Для профессорских верхов партии он был очень способным, но все же "самоуком", без обширного, подавляющего "багажа". Для

рафинированной интеллигенции он был провинциалом, не своим до конца человеком. Наша политическая интеллигенция, хотя и иронизировала над официальной табелью о рангах, имела свою собственную табель о рангах, где строго велся свой собственный счет, был и свой собственный социальный снобизм, при котором место чинов и орденов или родословных книг занимали весьма щепетильно разработанные общественно-политическая квалификация и степень культуры - это в среде умеренно-прогрессивной, или "революционные заслуги" - в среде радикально-революционной.

А.И. Шингарев не отвечал многим требованиям этого пагубного снобизма, что не мешало ему быть гораздо более выдающимся политическим деятелем, чем другие, более блестящие деятели его партии. Сам я, несмотря на молодость лет, чувствовал, например, отличие Шингарева от его товарища по трагической гибели профессора Ф.Ф. Кокошкина. Этого блестящего ученого и блестящего политического дебатера и оратора я услышал впервые в Москве. Кокошкин занимал тогда более левую тактическую линию, чем Шингарев, но дело не в этом различии. Если Шингарев имел приводные ремни к народу, если он еще мог найти общий язык с ним, то в отношении Кокошкина я этого не чувствовал. В самом деле, разве не характерно, что Кокошкин при всех своих блестящих дарованиях сосредоточился в 1917 году на выработке идеального избирательного закона в Учредительное собрание, мало считаясь с тем, как будут применены и вообще будут ли тщательно отработаны юридические нормы. Понятно, что в юные годы, да еще в вихре революции, мы мало понимали деятелей типа Кокошкина.

РОДИЧЕВ

На Петербургской трибуне я часто в "февральские месяцы" слышал знаменитого кадетского трибуна Ф.И. Родичева. Помню, что я очень волновался от одной мысли, что сейчас я его увижу и услышу впервые в жизни. На трибуну неловко поднялся громадный, грузный старик, с немного растерянной и вместе с тем саркастической улыбкой. Я в качестве доверенного лица фракции учащихся среднеучебных заведений Партии народной свободы председательствовал на этом митинге и уже с утра помню волновался при мысли (которой я очень гордился), что вечером мне предстоит перед аудиторией в несколько сот человек открыть собрание и произнести слова: "Слово предоставляется Ф.И. Родичеву". Когда я эти слова произнес и Родичев спокойно и как-то неуклюже занял трибуну, раздалось несколько возгласов неудовольствия. Я сильно струхнул, что не сумею сохранить порядка в зале, и как-то боялся за Родичева, вроде как за близкого старшего родственника,

находящегося в опасности, тем более что сам Родичев мне показался растерянным и не знающим, как и что говорить. Скоро я мог убедиться, что растерян я сам, а никак не знаменитый думский трибун, вероятно, немало потешавшийся над безусым председателем. Услышав возгласы протеста, Родичев вдруг резким движением поднял голову, сбросил пенсне, и его какое-то как бы несвязное бормотание, в котором мы разбирали лишь отдельные, между собой почти как будто не связанные слова - "Родина - Россия", "Война", "Революция", - сразу превратилось в сильный и страстный поток патриотического красноречия, где первое место занимали призывы продолжать войну до победного конца и в предстоящей победе осуществить "историческое задание" Российской державы. Горячие призывы сменялись бичующим сарказмом, направленным против пораженцев-ленинцев и особенно "полу-ленинцев", своей половинчатой политикой губящих родину и с ней революцию. Помню до сих пор, что это была самая резкая и злая критика меньшевиков и эсеров из Совета рабочих и солдатских депутатов, которую мне пришлось слышать на петроградских митингах того времени. В словах Родичева было много едкой горечи и глубокого разочарования. И этот тяжелый надрыв старого либерала почувствовали даже мы, его безусые слушатели. Я сидел, помню, совсем зачарованный этим фонтаном страстного красноречия. Я был пленен подлинным патриотическим подъемом и захвачен жгучей патриотической тревогой Ф.И. Родичева. Казалось, все противники раздавлены, уничтожены прошедшим русским смерчем. Так мне казалось в невинности 18-летней души.

Однако ничуть не бывало. Сразу же поднялся молодой представитель "революционной демократии" и начал возражать... Полилась знакомая тогда речь об "империализме" "предыдущего оратора". Впрочем, дальнейшее изложение нашего тогдашнего митинга интереса не представляет.

Публикация д.и.н. Владимира БУЛДАКОВА
Источник http://faces.ng.ru/memoirs/2000-03-30/6_orator.html